

## Вера Сытник

*Вера Сытник – журналист, писатель, член Международной гильдии писателей. Автор нескольких книг рассказов и романов. Пропагандирует отечественную литературу в Китае, сотрудничает с журналом «Русское искусство и литература». Лауреат многочисленных конкурсов и премий. Живёт в Китае и России.*



### ТВОРЧЕСКАЯ СТРУНА

#### Рассказ

#### I

С утра Мигунова повело не в ту сторону.

Обычно после завтрака он садится за компьютер и бродит по Интернету в поисках занимательных историй. Или, если приводят внуков, возится с ними: строит из кубиков башню, читает книжку, рисует. Но сегодня мальчиков не привели, а к компьютеру почему-то не тянет. И вообще, настроение такое, что хочется завывать, сжав зубы. И завыл бы, не будь рядом жены. Она включила телевизор и жадно уставилась на экран, где очередное шоу рассказывало о чьих-то пьянках, драках и бедных детях, живущих впроголодь. Мельком взглянув на приглашенные рожи, Мигунов почувствовал тошноту. С чего бы это? Вроде вчера не пил, ничем не травился. Однако тошнит. Тошнит от одного вида картин чужой жизни. Нищенской, омерзительной в своей безысходной откровенности. Наверное, хотят вызвать у зрителей жалость, сострадание? Но получается мерзостная гадость.

Впрочем, тошнит и от вида вполне благополучной, уравновешенно-смешливой, ужасно расплывшейся в талии супруги. Эта женщина – сама доброта! Всем поможет, обогреет, накормит и успокоит. Но вот же... Не смотрел бы. Тошнит от вида уютной комнаты с крепкой, но уже старой, вышедшей из моды мебелью; от вида ленивой толстой кошки, нагло разлёгшейся на подоконнике среди цветов; от вида облезлого крикливого попугайчика в клетке, понурившегося, но упрямо повторяющего: «Ерунда на постном масле!» Мутит от вида серого дня за окном и череды однообразных пятиэтажных домов, построенных бог весть когда. Город погрузился в дождливую дымку, свойственную началу весны, а Мигунов – в непривычное для него настроение.

При взгляде на всю эту картину его озарила мысль, от которой тошнота сделалась невыносимой, хоть в туалет беги. Он подумал, что сегодняшнее воскресенье ничем не отличается от субботы, пятницы, четверга и остальных дней недели. Всё тот же, до отвращения надоевший телевизор как центр бытия и до оскомины опостылевший толстый синий ковёр на полу, который мозолит глаза с момента, как Мигунов привёз его из очередного морского похода лет сорок назад. Кажется, из Италии. А может, из Гонконга. Теперь не вспомнить. В голове все порты, похожие друг на друга, перемешались. В советское время не сильно-то разрешалось разгуливать по городам, куда приставал пароход. Поэтому довольствовались пристанями. Но куда это годится! Сорок лет ступать по одной и той же тряпке, к несчастью, оказавшейся отменного качества: краски не потускнели и ворс не вытерся.

Мигунов, когда его всего сжало при взгляде на компьютер и на любимую кофейную кружку, всегда стоявшую рядом с мышкой, понял, что дело тут не в алкоголе или пищевом отравлении. Подобное не имело места последние полгода. Дело в другом. В том, что он вдруг отчётливо, так ясно, до сердечной боли и спазма в горле ощутил свой возраст. Его пронзила мысль, что всё самое лучшее давно закончилось. Морские просторы, новые города и континенты затерялись в прошлом и не имеют значения для теперешней жизни. Главный повар круизного лайнера! Когда такое было? Задор, весёлость, дерзкое желание всё успеть! О, молодость, молодость... От неё, по большому счёту, остался лишь этот ковёр да смутное чувство, что не успел, пропустил что-то важное. Может быть, главное?

Молодость ушла. Превратилась в размытые образы, живущие в сознании и имеющие ценность только для тебя одного. Притаилась в осколках чувств да в желании философствовать. Иногда взглянешь на студенческую фотографию – и так и обдаст тебя прохладой летнего парка или на языке вдруг проклюнется вкус «Жигулёвского» пива. Тотчас захочется пуститься в разглагольствования о текучести жизни, об её несправедливости. Да и где же тут справедливость? Кажется, только вот-вот отслужил армию, получил диплом технолога пищевого производства, уехал из Эссентуков в Одессу, вышел в море, вернулся назад в родной город, командовал всеми ночными клубами Кавказских Минеральных Вод. Думалось, круговорот интересных событий никогда не закончится. И вдруг – на тебе – пенсионер! Можно сказать, вынужденный. После перестройки клубы, рестораны, столовые и кафе постепенно закрылись. Работать стало негде. Чтобы выжить, таксовал. Но не это страшно. Страшно, что горизонт с годами сузился. Всё ограничилось Эссентуками, улицей Фрунзе, родительской квартирой – правда, уже без отца и без матери.

Горизонт горизонтом, но ощущения от жизни и сейчас не притупились. Порой даже кажется, что стали острее. Так и режут по живому. Давят на чакры, сбивают дыхание. Ну когда бы в молодости обратил внимание на золотую осень, расфуфыренную, будто иная девушка в национальном наряде? А сейчас поднимешь бордовый листок с земли, лоснящийся, словно его покрыли лаком; повертишь в руках, поражаясь краскам природы, и что-то так и защежит в груди, так и заноеет. Или ветер, к примеру. Раньше внимания на него не обращал, если, конечно, дело происходило не на корабле и за бортом не билась волна в пять баллов. Всё тогда было нипочём, главное – идти, плыть, бежать. Что же нынче? Прислушиваешься к малейшему движению воздуха – и даже в ласковом летнем ветерке улавливаешь нечто печальное, тоскующее, зовущее тебя то ли в начало, то ли в конец твоей жизни.

Впервые грядущая старость испугала Мигунова, хотя по нынешним понятиям шестьдесят лет – разве это возраст? Силы ещё есть, голова работает. Пенсии, которую недавно оформил, конечно, маловато на роскошную жизнь, но хватает, чтобы зубы на полку не класть. Да и что такое роскошь? Всё относительно. В молодые годы Мигунов гонялся за богатством. Кое-что скопил, приобрёл квартиру, машину. Ну и что с того? Квартиру подарил сыну, с машиной сплошная морока. А молодость не вернёшь, она густо припорошена временем. Правда, Бог здоровьем не обидел. Есть, разумеется, медицинские проблемы, но пока с ними справляется.

Жить бы да жить да наслаждаться, глядя на мир. Мигунов до сегодняшнего утра так и поступал – радовался, помня, что жизнь коротка и что многие его одноклассники уже отрадовались, покинув сей мир. Откуда же такая отчаянная тоска? Такое гнетущее, болезненное чувство в груди? Будто кто-то рвёт его на части. Царапает когтями внутри и выкручивает душу, как жена выкручивает половую тряпку. Почему вдруг такая ненависть ко всему и великое омерзение? Не иначе как тяжесть возраста придавила? Точно, годы дают о себе знать. Годы, которые проредили, выбелили шевелюру волос и сделали некогда гладкое широкоскулое лицо Мигунова похожим на печёное сморщенное яблоко. Всё оно было изборождено глубокими складками: высокий лоб, опавшие щёки, сдувшийся подбородок. Один нос сделался больше и опустился над провисшей верхней губой, из-под которой, если Мигунов улыбался, выглядывали жёлтые прокуренные зубы.

Чтобы унять тоску, Мигунов машинально побоксировал воздух и потянулся к альбому с карандашами, лежавшими на тумбочке. Сел в кресло и стал, не задумываясь, рисовать, устроив альбом у себя на коленях. Никогда раньше он этого не делал, не рисовал. Почему-то не делал. Вернее, рисовал с внуками, подстраиваясь под детскую наивную манеру. Примитивные деревья, домики, машинки и люди – всё было по принципу «точка, точка, два крючочка, ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек». Сейчас его рука двигалась размашисто, смело, уверенно, будто кто-то ею водил. Сопротивляться не хотелось. Карандаши сменяли друг друга, мелькая над белым альбомным листом. Мигунов словно выплёскивал на бумагу настроение сегодняшнего незадавшегося утра. Он продолжал злиться на себя, на жену, на квартиру, на кошку и попугайчика. Но главное – хотел заглушить страх, вызванный приближением старости.

Мигунов вспотел и скоро забыл, где находится. Казалось, он весь сосредоточился на карандаше и перетёк с его кончика в рождающуюся картинку. Поэтому, когда, закончив рисунок, отклонился, некоторое время взирал на него непонимающим взглядом. И вздрогнул, услышав жену:

– Коля, Коля! Что с тобой? Зову тебя, зову, а ты ноль эмоций. Посмотри... Ой, это кто нарисовал?

– Что... нарисовал?

Мигунов глубоко вздохнул, освобождаясь от недавнего напряжения.

– Николай, не придуривайся. Это же ты нарисовал?

Мигунов взял альбом и упёрся взглядом в то, над чем только что трудились его руки. На листе плескалось море, грозя перелиться за край листа. Море волновалось и то поднимало, то опускало свою мощную грудь, по которой среди волн пробирался баркас. Баркас и море, больше ничего. Вдали немного тёмных гор, занимающих часть горизонта. Всё освещено невидимым солнцем. И было непонятно, закат ли нарисован или рассвет. Наверное, закат, судя по ядовито-огненным пятнам на поверхности воды. Только закат может дать такой глубокий цвет, пресыщенный дневными оттенками, несущий в себе тягучую усталость и страстное желание покоя. Рисунок был прекрасен. Во всяком случае, таким его увидел Мигунов, потому что почувствовал тяжёлое дыхание огромного моря и дерзкую настырность маленького баркаса. Те, кто им управлял, были смелые люди. Не боялись удалиться от берега и теперь пытаются к нему вернуться.

– Почему ты не говорил, что умеешь рисовать, Коля? – спросила жена.

Она оторвалась от телевизора и разглядывала рисунок. Взяв альбом, вертела его и так и эдак, словно не верила, что он настоящий, тот, в котором рисовали её внуки, два пятилетних мальчика-близнеца.

– Я не знал, что умею, – ошарашенно ответил Мигунов. – В школе по рисованию у меня была четвёртка, по черчению в десятом тройка. Я даже в стенгазетах не участвовал! Откуда вдруг? Что это?

У него слегка дрожали руки. Достал сигарету и закурил. Чувствуя патетику момента, супруга не стала ругаться и выгонять на кухню, к форточке. Она ободряюще следила за мужем, который, казалось, выплыл из мрака и теперь с удивлением оглядывался и только что не ощупывал себя, проверяя на реалистичность. Дрожь унялась, наступило странное умиротворение. Словно Мигунова вытрясли, освободив от пыли, и вывернули наизнанку, чтобы он просушился. Стало невероятно легко и немного весело. Так бывает, когда предвкушаешь что-то очень приятное, интригующее.

Докурив, Мигунов снова потянулся к альбому и карандашам. Он рисовал, не отрываясь, часа три. Закончились свободные листы. Жена подсунула новый альбом. Мигунов этого не заметил. Он лишь успевал переворачивать бумагу, заполняя её набросками великолепных кораблей, готически возвышенных домов, каменных колоколен, деревянных покосившихся избышек; лицами юных и старых женщин и мужчин, печальных и радостных. Полноценные рисунки, на которых сквозь дождь и снег проступали глаза и улыбки людей, сменялись этюдами. Фрагменты крыш соседствовали с облаками, а рядом с деревенской мельницей бродили гуси. Карандаши часто ломались. Он тоже не замечал. Жена их точила и подкладывала на тумбочку.

Закончив набросок одесского дворика, где росла вишня и тянулась железная витая лестница по внешней стороне выцветшего дома, Мигунов остановился, сражённый усталостью. Он не захотел пересматривать рисунки. Закрыв альбом и положил на тумбочку. Сверху вниз, почти бросил. Мол, вот вам! В резком жесте были уверенность, и радость, и осознание незыблемости приобретённого навыка. Мигунов уже не удивлялся, откуда и почему к нему пришло умение рисовать. Довольно того, что он видел альбом и помнил каждую чёрточку в нём, каждую линию.

Жуткое опустошение овладело Мигуновым. Было тихо. Телевизор молчал. Жена копошилась на кухне, готовя обед. Изредка доносилось позвякивание посуды. Мигунов встал, потянулся. Окинул комнату медленным взглядом, словно узнавая её. Погладил кошку, переместившуюся на диван; щёлкнул по клетке попугая, на что тот завопил: «Позор! Позор!» Неторопливо прошёлся по ковру, невольно отмечая его мягкость, и очутился у окна. Посмотрел на город, уже свободный от дождевой дымки, а потому выглядевший умыто и бодро, вернулся к дивану и рухнул на него, мгновенно уснув.

## II

В последующие дни Мигунов лихорадочно рылся в Интернете, осваивая уроки по живописи. Они помогли ему понять несовершенство первых рисунков. Но это не испугало его. Напротив, придало радостного азарта и оживило любопытство, свойственное ему в юности, но приглушённое годами. Всё узнать, увидеть, успеть! Догнать! Настроение молодости вернулось. Он купался в нём, как, бывало, купался в синих водах Тихого океана, ощущая свои молодецкие силы и магическую силу воды. Мигунов с ходу ловил советы виртуальных учителей, как будто всю жизнь занимался искусством. Чётко понимал теорию, а что не понимал, улавливал интуицией или брал настойчивой практикой.

Многое на уроках казалось ему знакомым. Будто он уже слышал это и даже применял на деле, но потом зачем-то отвлёкся на море и ночные клубы. Композиция, колористика, жест, эмоции мазка, накал страсти в столкновении линий, мощь пятна, нежность полутени – всё было близким, будто бы забытым, но легко и быстро возвращающимся к жизни.

Стоило Мигунову взять в руки кисти, как настроение его улучшалось. Куда-то отодвигался дом, жена, внуки. Забывалось прошлое. Не думалось о будущем. Переставало существовать настоящее, в котором, как в борще овощи, были смешаны болезни, безденежье и суета. Никчёмность жизни отступала. Кисти, краски и холст меняли не только настроение Мигунова, они меняли мир вокруг него. Всё, что он видел рядом с собой, теперь имело иной оттенок и даже суть. Привычные предметы могли вызвать самую неожиданную ассоциацию. Почерневший, влажный после дождя поваленный дуб, который уже не хотел выпускать листья, напомнил ему Гаити, бухту залива Гонаив, куда их лайнер зашёл на день, а пробыл три из-за непогоды.

Мигунов вспомнил шторм и обломок дерева, заброшенный, как спичка, на палубу волной. Перед выходом в море его столкнули в воду. Эту сцену наблюдала молодая гаитянка с берега. Она была в сарафане и в сандалиях. Волосы её трепал ветер. Девушка приставила козырьком ладонь ко лбу, защищаясь от солнца, и пыталась что-то разглядеть на пароходе. Гибкое тело её, поддаваясь внутреннему настроению, извивалось и тянулось вверх и вперёд и выражало отчаяние.

– К нам, my girlfriend, к нам! – закричали ей моряки.

Мигунов знал, кого ищет красавица. Он встал на кромку палубы и помахал обеими руками. Девушка, увидев его, подпрыгнула раз, другой, третий, а потом села на валявшийся неподалёку ящик и заплакала, чем насмешила моряков и удивила Мигунова. «Чудная, – подумал он. – Или маньячка». В первый день стоянки, когда не было шторма и туристы отправились в Порт-о-Пренс, он бродил по местной барахолке, ища дешёвую спортивную обувь. И нашёл в бутике, где хозяйничала Юлали. Так звали девушку. Разговорились на плохом английском. Гаитянка, пока Мигунов делал примерку, не спускала с него сверкающих неестественной яркостью чёрных глаз. Буквально ела глазами, будто хотела сжечь. Мигунов выбрал обувь, рассчитался и собрался уходить, но продавщица не отпускала его. Она упала на колени, не обращая внимания на других покупателей, обхватила ноги Мигунова и заплакала.

– Беби, беби, – бормотала она. – Делать беби, белый лицо. Ты Ален Делон.

Мигунов сообразил, чего хочет девица, и поразился несоответствию её изысканной красоты с низостью дела, которым она попутно занималась, продавая обувь. До этого он видел некрасивых, незатейливо-грубых проституток. Вид Юлали, ладненькой, крепкой, аккуратной, без краски на лице, обескуражил его. На секунду он даже поверил ей. Поверил, что она хочет иметь светлокорого ребёнка. И принялся объяснять, что это невозможно, что так детей нельзя делать походя. В бутике откуда ни возьмись очутились три громадных толстогубых парня, которые начали теснить Мигунова к малюсеньким дверям в глубине помещения. Сообразив, что к чему, он по возможности мягко разжал руки девушки и выскочил из магазина...

Он вспомнил Юлали, её прекрасные плечи, страстные глаза и не по-девичьи сильные руки. Вспомнил, как она плакала, сидя на ящике, и захотел её нарисовать. Картина получилась живой: замусоренная пристань, белоснежный корабль, хрупкая фигура плачущей чернокожей девушки и корявое дерево, качающееся на голубых волнах между берегом и кораблём. Мигунов смотрел на полотно и, кажется, чувствовал влажновато-солёный запах гаитянского дня. Так, прислушиваясь к собственным ощущениям, стараясь не выходить из расслабленного состояния, Мигунов и работал. Что сознание подсказывало, то и рисовал, не задумываясь над сюжетом картины.

Всё выходило само собой, без напряжения. Городские пейзажи, никогда им не виденные, рождались из его представлений о счастливых городах. Его разношёрстные герои приходили к нему из ниоткуда и оставались жить на холсте. Возможно, это были отголоски прошлого, чего-то мимолётного, мечтательного. Но Мигунову верилось в другое. Основу внезапной, новой для него деятельности составляла струна, звучание которой он слышал в своей душе. Слышал отчётливо, как если бы рядом играли на однострунной арфе. Как и откуда она появилась, Мигунов не знал, но принимал её колебания, которые освежали память, озаряли душу и вливали в тело энергию. В такие минуты он устремлялся в угол комнаты, где устроил мастерскую, и хватался за кисти. «Творческая струна запела!» – радовался Мигунов, забыв о страхе перед близкой старостью.

Он попробовал работать фломастерами, акварелью, маслом и акрилом. С акварелью не справился. Не хватало в ней цвета, дерзости, энергии. Фломастеры оставил детям. Масляные краски тоже отклонил: слишком резко они пахли. Для них была нужна отдельная мастерская, а не угол в трёхкомнатной квартире, куда постоянно приходили дети. Поэтому остановился на акриле: ни запаха, ни какой-либо сложности с их разведением водой. Сохнут быстро, держатся долго, запросто можно положить поверх одного рисунка другой. А уж цвет – фантастика, мечта! Картон и бумага тоже были отмечены как слишком прозаические вещи. Только грунтованный холст!

### III

К середине лета скопилось много картин. Сначала они стояли на свободных поверхностях, а потом были свалены в кучу и превратились в источник недовольства жены. Она взяла в привычку тихо ворчать всякий раз, как проходила мимо художественного «хлама, съедающего пенсию». Кошка порвала несколько холстов и норовила точить когти о рамки. Попугай яростно кричал: «Базар! Восторг!» Но Мигунов продолжал работать. Однако игнорировать подковырки супруги не получалось. Язвительный шёпот перебывал звучание творческой струны, и та стала давать сбои. Когда струна молчала, Мигунов начинал подумывать насчёт продажи картин. Занятие живописью оказалось дорогим удовольствием. Пенсии не хватало, таксовать было некогда. Всё чаще он рассуждал: «Чем я хуже других самоучек, выставяющихся в Курортном парке на центральной аллее перед бюветом, где особенно много отдыхающих? Говорят, раньше, в советское время, уличные художники могли за сезон заработать на машину». Соблазн иметь дополнительный доход не давал покоя. Впрочем, не до жиру: не на машину, так на колёса и новую обивку для салона заработает.

И однажды решился. Выбрав пятнадцать отменного качества работ, отправился в парк. Разложил всё недалеко от источника и стал нервно прохаживаться рядом, не выпуская сигарету изо рта. Слева и справа расположились местные художники. Все они имели скучающие физиономии, но оживились при появлении Мигунова.

– Давно малюешь? – спросил тот, чья галерея была представлена видами двуглавого Эльбруса и других известных на Кавказе гор.

– Пять месяцев, – ответил Мигунов.

– Шутишь? – не поверила пышнотелая средних лет художница. Её картины пестрели мордами разномастных кошек со стеклянными глазами.

– Где учился? – поинтересовался третий, видимо любитель натюрмортов, ибо стоял в окружении помидоров, яблок, груш, винограда и прочей фруктово-овощной снеди.

– В Интернете! – признался Мигунов.

Он уловил ревностную настороженность, исходившую от коллег по цеху. Оценив обстановку, понял, отчего такая реакция. Его работы были, конечно, сильнее неживых пейзажей, статичных кошек и шаблонных натюрмортов. Всё, что он видел, являлось мазнёй, ширпотребом. Ну и картинки... Без капли души! Без динамики и настроения. Убогость. Свои полотна он не мог так назвать. Не потому, что сам их создал, а потому, что видел разницу в технике исполнения. Да что там «разницу»! Пропать. Природное чутьё давало ему трезво взглянуть на чужое и личное. Может быть, ему далеко до профессиональных мастеров, но творческая струна пела-подсказывала: у него получилось. Да и любопытство людей, окруживших выставку Мигунова, говорило о многом.

В этот день купили четыре картины. Из тех, которые он определил для себя как средненькие. Каждая ушла по четыре тысячи рублей. Мигунов обомлел. Он старался не смотреть на соседей, хмуро поглядывавших в его сторону. А дома первым делом убрал картины подальше от кошки. Довольная, примолкшая жена выделила для них несколько полок, предварительно убрав книги. Мигунов блаженствовал. Глянул в зеркало и лихо подмигнул своему отражению: «Видал? Шестнадцать тысяч заработал! Почти моя пенсия!» Несмотря на поздний час, взялся за работу и написал небольшую картину: одинокая беседка на пригорке, окутанная зеленью клёнов. У подножия – лунообразный цветник. В картине не было ничего необычного, но чередование мелких и крупных мазков, экспрессия дневных теней и переход одного тона в другой создавало волнующее впечатление: пейзаж дышал. Мигунов остался доволен, получив подтверждение своего мастерства. Под сказочную песню тайной струны уставший художник уснул.

Через три месяца он с огромным разочарованием понял, что публике нравится примитив. Что люди не против лупоглазых кошек, статичного Эльбруса и каменных натюрмортов. И был удивлён, когда увидел, что лучшие его работы оставляют зрителей равнодушными. На них даже не смотрят, отдавая предпочтение тому, что не имело ценности. «Ну что ж, – решил Мигунов, – если такое дело, можно пойти народу навстречу». Он стал придумывать простенькие сюжеты, выжимать их из себя, вытаскивать. Не следовать тому, что подсказывало сознание, о чём нашёптывала вдохновенная струна и что само просилось на холст, а наужно писать пустышки. Ради экономии холстов он приловчился закрашивать картины, на которые более двух недель никто не засматривался, и писать поверх них новые. Более понятные, декоративные. И такие «шедевры» продавались.

Активная торговля раздражала коллег. Художники бойкотировали удачливого соседа, не вступая с ним в разговоры. Однажды, уже перед зимой, Мигунов отлучился на несколько минут, чтобы попить минеральной воды. Когда вернулся, увидел, что несколько его картин испорчены. Кто-то разрезал полотна, и они болтались ключьями. Выругавшись, Мигунов оглянулся. Горе-мастера стояли на обычных местах и, казалось, были заняты созерцанием своих творений. Искать справедливости, ссориться с ними? Глупо. Эх... Не денег жалко, а поруганной души. Среди испорченных картин была и та, где продолжала плакать чернокожая гаитянка и тихо качался на синих волнах обрубок толстого дерева. У Мигунова рука не поднималась закрасить эту работу. Он выставлял её, но без всякой надежды на продажу. Лишь бы находилась рядом. С ней ему было тепло.

Увидев, что линия разреза прошла по фигуре девушки, Мигунов вздрогнул, похолодел, а потом к горлу подступила тошнота. Он убежал за киоск, где его вырвало. В груди стало больно, как будто там лопнула струна, дающая вдохновение. Мигунов замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Так и есть: душу объяла пустота, в которой не было места арфе. Он вытер губы и долго стоял, приводя чувства и мысли в порядок. Вроде полегчало. Собрав картины, ушёл домой и несколько дней бездумно валялся на диване, слушая крики попугая. Приходила жена, сын с внуками. Он машинально что-то отвечал, ужинал с ними, но пребывал в потерянности. Морщины на лице углубились, концы бровей печально повисли вниз. Он курил больше обычного и много молчал. Жена пробовала успокоить его:

– Жили без этих денег и дальше проживём, – приговаривала она, поглаживая супруга по спине. – Ну, испортили четыре холста. Забудь.

– Да не в деньгах же дело, Маша!

– А в чём, Коля?

– В душе, в душе! В которую плюнули. Представь, я не могу теперь писать картины. Что-то надломилось внутри.

– Разучился?

– Не разучился. Души в них будет мало. А без души зачем холсты портить? Стать похожим на одного из тех, кто Эльбрусы и кошек штампует? Понимаешь, ушло настроение, исчез полёт, руки не просят красок.

– Ну-у-у, – протянула жена, – если не разучился, можно и без души. Можно и без настроения рисовать. Главное, деньги будут. А в наше время, сам понимаешь, они лишними не бывают. Ты отдохни, отдохни, и всё наладится.

– Эх, Маша, Маша. Пойми, испортили лучшую вещь! Ведь я писал не ради наживы. От чистого сердца, повинуюсь вдохновению. А это выше всего, потому что не имеет границ. Ведь когда во мне вдруг проснулось художество, я будто вышел за горизонт. Увидел мир таким, каким раньше не видел! Я был здесь, в комнате, но был далеко от неё. Там, где находились корабли, шёл тропический ливень или жарило нездешнее солнце. Я жил вместе с героями, дышал воздухом, которым дышали они! Лазил на скалы, на которые они взбирались! А сейчас? Я снова не вижу горизонта! Снова тупик и духота.

– Правильно, не видишь, потому что из нашего окна его не видно.

– Да я о другом! О другом горизонте говорю. Эх, Маша, как надоел мне этот ковёр. Осточертел. Может, сменим?

– Теперь к ковру прицепился. Он-то в чём виноват? Ещё сто лет прослужит. Деньгами сорить незачем.

– Оставь меня. Хочу подумать.

Он несколько раз подходил к мольберту и отходил, не в силах к нему прикоснуться. Тем не менее в понедельник неожиданно вспомнил, что хотел купить зимние шины на автомобиль, поэтому сел за работу, понукая себя мыслью о желанной покупке. Писать картины без ощущения музыки внутри себя было непривычно. Ещё недавно всё вокруг забывалось, оставалась только однострунная арфа. Она струилась нежнейшей вдохновенной мелодией, которая заполняла слух Мигунова изнутри, оживляя каждую клеточку организма неизъяснимым восторгом. Теперь же внутри зияла темнота, а его слух отравлялся визгами телевизора, шагами жены, криками попугая, гудением автомобилей, скрежетом близкого лифта. Шумовая отравка была привычной. Интоксикация от неё, так же как и от сигарет, воспринималась в качестве неотъемлемой части жизни. А раньше? Заслышав звуки струны, Мигунов улетал в невесть какие дали, отдавал полёту всю энергию до последней капли и возвращался, как сдутый пузырь. Неизвестно, как оно лучше-то: или со струной, или без неё.

Так, мало-помалу Мигунов снова взялся за кисти и продолжил выжимать из себя сюжеты и темы для этюдов. Он видел, что этюды, а за ними и картины выходили вялые, тусклые по внутренней наполненности. Однако технически были безупречны. Гладкие для восприятия, они не затрудняли взгляд покупателей поисками потаённого смысла. Да и кому он нужен, этот смысл? Люди устали от безденежья, от безнадежности. Свой взор останавливали на том, что отвлекало их от тяжких дум, на чём-то ярком и понятном. Мигунову нынешние свои картины не нравились, но он продолжал трудиться, потому что зимние шины он купил, теперь нужны были новые колодки для машины.

Полного погружения в сюжет не происходило. Мигунов смотрел на своих героев отстранённо, холодно, не зажигаясь от происходящего на полотне. «Однако в каком-то смысле, – думал он, – такое положение дел сберегает нервы». В их с женой возрасте это не лишнее. Да, творить под звуки внутренней струны, по звучанию похожей на арфу, прекрасно. Это поднимало его на огромную высоту! Кидало за горизонт, делало взгляд всеобъемлющим, проникающим в суть предметов! Но ведь как выматывало, как забирало силы! Буквально выхолащивало, опустошало. И приходилось курить сигарету за сигаретой и без меры заливать в себя кофе. А так, без струны, малой себе на здоровье! Тишь да гладь. Главное, чтобы было в тему, чтобы нравилось толпе.

#### IV

Зимой продажи упали. Отдыхающие окружали уличный вернисаж Мигунова, подолгу рассматривали некоторые из картин, но денег не доставали. Особенно любопытные задавали вопросы о том, с какой натуры были срисованы скалы, район города или девичье личико. Мигунов в ответ раздражался и ничего не отвечал. Как объяснить bestолковым, что вся его натура – в голове? Что денег не наберёшься ездить по всем местам, что изображены на полотнах. С другой стороны, подобные вопросы удовлетворяли его авторское самолюбие: если спрашивают, значит, видят интересное для себя, значит, что-то цепляет в картинах.

Однажды к нему приблизилась компания из троих молодых мужчины, одетых щеголевато, по-европейски, в дорогие тёмные пальто и вязаные шапки. Поздоровались и принялись внимательно рассматривать выставку. О чём-то переговаривались между собой и поглядывали на курящего, съевшегося от холода Мигунова.

- Это ваши работы или вы только продавец? – спросил один, в рыжих замшевых ботинках.
- Мои, – буркнул Мигунов. Почему-то он испытывал к незнакомцам враждебное чувство.
- Недурно, весьма недурно. Весьма неожиданно встретить в провинции тонкую выразительность.

Вы долго пишете одну картину?

- По-разному. Могу за день. Или за неделю. Смотря как работа пойдёт.
- Прекрасно. Не хотите выставиться в Москве?
- Не понял?
- Вы собираете все свои работы, приезжаете в столицу, а мы организуем для вас вернисаж в нашем арт-клубе. Довольно известный в Москве.
- Для вас это ничего не будет стоить, – добавил второй, укутанный в полосатый шарф. – Только проживание в гостинице. Если, конечно, захотите присутствовать во всё время выставки. Обычно такие мероприятия длятся по месяцу.

Эти трое выжидательно уставились на Мигунова.

– Что мне это даст?  
– Известность. И двадцать пять процентов от продажи картин. Остальное – арт-клубу. За аренду и организацию проекта. Понадобится реклама, презентация, фуршет. Что скажете?  
– Не-е-е-е, братцы. Это не для меня.  
– Почему?  
– Мне и здесь хорошо. Своя клиентура, весь доход мой.  
– Ну, смотри, – насмешливо произнёс третий. – Если предпочитаешь стоять на морозе, дело твоё. Вот наша визитка. Надумаешь – звони. Картины у тебя классные, коммерческий нюх у тебя отличный. Такое нечасто встретишь. Можно было бы сделать хорошие деньги. Подумай.

Мужчина сунул в руки Мигунова визитку, и троица, попрощавшись, удалилась. Дома он долго обсуждал с женой тему поездки, и оба пришли к выводу, что дело это зыбкое. Ехать в Москву, тратить деньги, а будет ли результат? Нет, нет, всё остаётся как есть. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Во время разговора что-то затрепыхалось в груди Мигунова. Заволновалось и начало расти, пробуждая забытые возвышенные чувства. Как будто давешняя творческая струна, возродившись, приготовилась снова запеть. На секунду показалось, что ещё мгновение – и горизонт раскроет ему свои объятия, что сюжеты и образы, как бывало прежде, польются из подсознания, а руки сами запорхают над мольбертом. Но Мигунов усилием воли стряхнул с себя наваждение. Рассудок взял верх. «Нет, деньги надо зарабатывать с холодной головой, без всяких там полётов в никуда», – подумал он и сказал жене:

– Ехать в Москву – значит, бросить жилу, которую только-только нащупал, отдаться искусству. А мне хочется побывать на море. Как считаешь? Заработаю денег, поедem в Турцию. Хочу ещё раз вдохнуть морского воздуха.

Супруга в ответ согласно кивнула.

## V

Три последующих года Мигунов упирался изо всех сил. Работал у мольберта каждый день, не давая себе отдыха. В результате набил руку и мог рисовать с закрытыми глазами – настолько изучил размеры холстов и настолько часто повторялись сюжеты картин. Писал их быстро, не задумываясь. Шёл по намеченному плану, ни шага в сторону. Для облегчения усилий и для увеличения скорости теперь не брезговал шаблонами. Набрасывал на два-три холста один и тот же рисунок, затем раскрашивал с точностью до сантиметра. В итоге получалось несколько одинаковых полотен, которые разлетались в течение двух-трёх недель. А если не разлетались, он молниеносно, без сожаления замалёвывал их, нанося новый рисунок. Казалось, и мыслить Мигунов стал шаблонами: столько-то картин в работе, столько-то готовы к продаже, столько-то заработано денег. Если рисовал море, то непременно с прогулочным кораблём и белой палубой, на которой изящные девицы потягивали коктейли из бокалов. Если городской пейзаж, то обязательно с кустом облетающей сакуры. Если портрет, то исключительно тонкого, с правильными чертами молодого лица.

Он подружился с художниками, когда-то испортившими четыре его холста. Покуривая, вместе с ними рассуждал о неразвитости художественного вкуса отдыхающей публики, которая приезжала в Ессентуки попить минеральной воды с разных концов России. Смеялся над простодушной наивностью людей, которые выбирали картины, исходя из желания украсить квартиру. Мигунов теперь хорошо разбирался в запросах чужаков. Знал, что именно нужно рисовать для прихожей, для кухни, а что для спальни. Различия между этими задачами были существенны, и относиться к ним следовало со всей серьёзностью. В противном случае зрители чувствовали подвох, насмешку и с обиженным видом уходили прочь.

Так, на кухню требовались только яркие натюрморты и лирические пейзажи. И ни капли абстракции! Иначе – не купят. Для прихожей предполагались гарцующие лошади, охотники с собаками, средневековые замки или городские виды. И опять же – никакого потаённого смысла. Всё должно лежать на поверхности. Для спальни брали цветы и жанровые сценки, в которых допускался намёк на любовь. Желательно на счастливую, чтобы радовала глаз и веселила сердце. Всему, связанному с морем, отводилось место в гостиной, в зале. Там же могли повесить картины с изображением Эльбруса, Машука, Бештау. Да, горы Кавказа и другие популярные туристические места Кавказских



Минеральных Вод заняли прочное место в работах Мигунова и больше не казались ему чем-то недостойным его внимания.

Исчезла нужда в деньгах. Семейный бюджет укрепился. Они с женой расслабились и задышали спокойнее. О деньгах уже не думали, не считали рубли. Всё, что уходило на холсты и краски, не шло ни в какое сравнение с доходами от продажи картин. Оказалось, что даже в трудное время люди не чураются прекрасного. Да, конечно, то, что теперь создавал Мигунов, находилось далеко от настоящего искусства, но всё равно было вправе таким называться, ибо выражало его эстетическое отношение к миру. А уж какова эта эстетика – его личное дело и никого больше не касается. Главное – за неё дают деньги.

Через три года он подкопил сумму, чтобы лететь на Средиземное море. И они с Машей отправились в путешествие. Посмотрели Турцию, поплавали, понежились на пляже, попробовали знаменитую пахлаву и пишмание из сахарного сиропа и обжаренной муки. Вернулись довольные, загорелые, полные солнечной энергии. Мигунов прилетел воодушевлённым. Две недели он мечтал о том, что по возвращении домой тотчас сядет за мольберт и будет рисовать, рисовать! Отдаст холсту новые впечатления, выплеснет наружу печаль от встречи с морем. Печаль, граничащую с восторгом. Прочь, прочь шаблоны! Прочь комнатные жанры с их пустотой и несносной убогостью! Прочь запросы публики! С этого момента – только истинное, одухотворённое искусство. Только то, что идёт от сердца. О, сколько прекрасных картин возникало в его воображении, сколько выразительных образов толпилось в его голове! И всё это восхитительное великолепие срочно пролилось на полотно.

Мигунов так и сделал. Оставив жене разбирать чемоданы, переоделся в домашнее и стремительно бросился к мольберту, испытывая жгучее желание творить высокое, вечное, мудрое. Творить красоту. Таковую, какая ещё не появлялась в его галерее. Он быстро, привычным жестом установил холст, взял кисть, нетерпеливо открыл краски, сосредоточился, весь уйдя в свои мысли, занёс руку над мольбертом и – беспомощно замер. Серый холст смотрел на него и, казалось, давил чистотой, которую Мигунов почему-то страшился нарушить. Рука не двигалась навстречу будущей картине. Холст, будто почуяв нерешительность Мигунова, осклабился. Возможно, это была игра теней, падавших из окна. Но Мигунов не сомневался: ему в лицо злорадно усмехался холст. «Наверное, дорожная усталость, – подумал он и потряс головой. – Сутки не спали. Мерещится всякая ерунда». И он пошёл на кухню к жене, которая готовила чай.

После чая прилёг отдохнуть, а вечером, при свете лампы, снова встал к мольберту. История повторилась. Он не мог сделать и одного мазка. Рука была словно замороженная. Словно кто-то сдерживал её, не давая водить кистью по холсту. Когда же Мигунов, взмокнув от напряжения, сумел-таки начать рисунок, он с ужасом ощутил скованность во всём теле. Несвобода! То, что появлялось на холсте, было далеко от совершенства и напоминало технику, в которой он работал последние два года. «Халаявная» – так он её называл, подразумевая живопись на скорую руку, ради лёгкого заработка. Морской пейзаж, который Мигунов силился воссоздать, был похож на шаблонную картину для гостиниой. Никчёмность интерьерного жанра поразила его. Убила. Как ни пытался, он не мог выйти за рамки укоренившейся привычки. Под рукой рождалась очередная серость, пустая внутри, но технически безупречная. Не об этом мечтал Мигунов, а о чём-то, близком к гаитянской теме. О картине, где каждый мазок одухотворён и проникнут светом.

Со страшной силой захотелось взвыть. И он бы взвыл, если бы не жена, которая после чая включила наконец телевизор и жадно уставилась на экран. Не стоило пугать Машу. Поэтому Мигунов тихо опустился в кресло рядом с мольбертом и окинул взглядом комнату, в которой отсутствовали попугай и кошки – их перед отъездом отнесли к сыну. Он снова услышал страх в своей груди. То был страх грядущей близкой старости, мерзкой, как и его последние картины.

*18–23 декабря 2022 г., Эссендуки*

